|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***П.Засодимский. Дедушка Павел Михайлович***  // Исторический вестник. – 1893. – т.51  I.  Дед мой по матери, Павел Михайлович Засецкий, был помещик и потомственный дворянин Вологодской губернии, отставной моряк, «лейтенант флота», барин довольно богатый и важный.  Предок его еще во времена седой старины «выехал» в Московское государство из «немецкия италийския земли» [[1](http://www.booksite.ru/usadba_new/zasec/15_07.htm" \l "1_1)]. Не однажды Засецкие бывали в силе или, как прежде говорилось, «в фаворе ».  Один из Засецких, как гласят фамильные хроники, был в хороших отношениях с Василием Васильевичем Голицыным, любимцем правительницы Софии Алексеевны, и вместе с ним ходил войной на злых ворогов-татар, и хотя поход в Крым, как известно, кончился неудачно для царской рати, но, тем не менее, на долю Засецких выпало не мало великих и богатых милостей – в виде земель и разных угодий. Другой Засецкий был воеводой в Сибири, и при нем род Засецких, по-видимому, достиг кульминационной точки своего процветания и швы. Этот Засецкий-воевода был в чести, оставил после себя изрядное наследство и похоронен в Прилуцком монастыре близь Вологды.  У деда моего Павла Михайловича были два большие родовые именья под Вологдой – Фоминское и Новое, и третье, Чичулино, купленное им у двоюродного брата, Засецкого же. Кроме этих трех больших усадеб, у него было еще несколько деревень лесных дач, пустошей и разных угодий.  Главной и любимой резиденцией дедушки Павла Михайловича было Фоминское. В Новое он переезжал с семьей лишь на весну – месяца на полтора; там в озерах, близ деревни Шиблово, во время весеннего разлива вод он ловил рыбу. Впоследствии дедушка отдал Новое сыну своему Константину, а Чичулино – другому сыну, Николаю. Сам же с младшим любимым сыном, Александром, жил постоянно в Фоминском, и Александр Засецкий еще при его жизни наследовал это прекрасное, благоустроенное имение [[2](http://www.booksite.ru/usadba_new/zasec/15_07.htm" \l "2_2)].  Кроме этих трех сыновей, у дедушки были три дочери: старшая, Наталья, блистательно кончила курс в Смольном монастыре с шифром, осталась девицей, под старость ушла в Горицкий монастырь и там умерла монахиней; Елизавета, любимица дедушки, была очень рано выдана замуж за отставного офицера Данилова; Екатерина (моя мать) также была рано выдана замуж.  Все хозяйство, ведение дома и воспитание детей лежало на бабушке, Екатерине Григорьевне.  Бабушка была петербургская уроженка и происходила из бедной дворянской семьи. Дедушка Павел Михайлович встретился и познакомился с нею в Кронштадте, где она, по окончании курса в Смольном монастыре, гостила у своих родных. Она понравилась дедушке, тот женился на ней и, по выходе в отставку, увез ее в свое Фоминское.  Когда я стал помнить бабушку, она была очень благообразной, симпатичной старушкой, высокого роста, худощавой, с овальным бледным лицом и в белом чепчике с лопастями. Помню: она носила обыкновенно светлые платья с довольно короткой талией и с длинной юбкой, волочившейся сзади в виде шлейфа. Под старость ее разбил паралич, и она ходила тихо, опираясь на черный костыль. Несмотря ни на старость, ни на болезнь, она не горбилась, держалась прямо и во время приема гостей своими торжественными, величавыми манерами напоминала маркиз и графинь XVIII века. В обществе дедушка Павел Михайлович был с нею так же утонченно-вежлив и любезен, как и с прочими дамами, и также низко раскланивался с нею. И она в свою очередь при гостях была с ним так же почтительно холодна, как и со всеми мужчинами... Такая чудесная метаморфоза в обращении старичков-супругов меня очень забавляла в ту пору.  Бабушка Екатерина Григорьевна была очень добрая старушка и любила детей. Помню, когда я был еще очень мал (вероятно, лет четырех-пяти), она брала меня за руку с ласковой улыбкой и, стуча своим черным костылем, отправлялась со мной в кладовую. Там она наделяла меня всякими лакомствами...  И, Боже мой, что это была за кладовая! Чего-чего только в ней не было! Помню: большие лукошки, кадки, белые деревянные лари вдоль стен, сундуки, какие-то темные старинные баулы, окованные жестью, с дугообразно выгнутыми крышками; полки, уставленные бутылками, банками, ящиками, ящичками, мешочками, бумажными тюриками; на веревках под потолком висели рядами пучки сухой мяты, полыни, трифоли, зверобоя и других хозяйственных или лекарственных растений. В кладовой всего слышнее пахло какими-то наливками-запеканками, мятой и яблоками. Из всех лакомств, какими наделяла меня бабушка, я особенно помню превосходное сухое варенье из ягод и фруктов. Оно, в виде засахарившейся массы, хранилось в больших стеклянных банках. Впоследствии я уже никогда ничего не едал вкуснее этого сухого варенья...  Дед был страстный рыболов и охотник; после него осталась громадная коллекция всевозможных рыболовных и охотничьих снарядов – сетей, мереж различной величины (для рыбы и для зверей), капканов, рогатин для охоты на медведя и на волков, не считая целого арсенала ружей, пистолетов, охотничьих ножей, кинжалов. На облавы под предводительством дедушки собиралось до 300 человек крестьян, дворовых и мелкого помещичьего люда. В один день, бывало, убивали 5-6 волков, несколько лисиц и целую кучу зайцев. Множество волков истребил на своем веку дедушка Павел Михайлович, и соседнее крестьянство осталось ему очень благодарно за избавление их стад от злых хищников.  Жизнь дедушки в деревне проходила в рыбной ловле, в охоте и в попойках; страсть к последнему препровождению времени он перенес с корабля и в семейную жизнь. Нрав у него смолоду был довольно крутой, горячий, своевольный, – и во время его шумного разгула и охотничьих кутежей жизнь Екатерины Григорьевны проходила печально, в постоянном томительном страхе.  Бабушку Екатерину Григорьевну доконал паралич. Она умерла, когда мне минуло шесть лет. Дедушка лет на 10 пережил ее...  В Фоминском у дедушки было много рогатого скота, лошадей, охотничьих собак, и, кроме того, у него постоянно жили в доме ручная белка в клетке или горностай, ручная ворона с опешенными крыльями или ёж, а в саду – ручной журавль, до того образованный, что даже плясал под хлопанье в ладоши, семья медвежат или волчонок... У дедушки была своя мельница, кузница, угольник (т. е. сарай для угольев). Кстати: в этот угольник однажды была посажена семья маленьких лисят. Лисята вырастали, валяясь постоянно в угольной пыли, и до того, наконец, изменили цвет своей шерсти, что дедушка впоследствии, уже будучи стариком, с веселым, детски-лукавым смехом рассказывал о том, как этих самых обыкновенных лисиц, воспитанных в угольнике, продали за черно-бурых...  Его главная резиденция – Фоминское, с громадным двухэтажным домом с гигантскими колоннами, окруженным цветниками, садами, рощами, прудами, теплицами и оранжереями, со множеством различных построек и с белою церковью на горе, считалась в ту пору одним из лучших подгородных барских имений (Фоминское находится в 16-ти верстах от Вологды).  Дедушка с семьей жил внизу, а верхний этаж предназначался для парадных приемов...  II.  Я еще ребенком, с покойной матушкой, довольно часто ездил в Фоминское. Я любил забираться наверх и бродить по пустым комнатам. Тут для меня все было очарование и таинственность. Живо я помню одну за другой все эти комнаты...  Зала была громадная, высокая комната, с большими окнами, выходившими на двор и в сад, и с белыми стенами, окаймленными золотым бордюром. Под потолком середи залы висела почтенных размеров хрустальная люстра с гранеными подвесками, – вроде тех люстр, какие и теперь можно видеть в иных церквах. Когда солнечный луч падал на люстру, ее граненые подвески ярко блестели, отливая всеми цветами радуги. Вдоль одной стены стояли в кадках большие фиговые, лимонные и померанцевые деревья, с лоснящимися, темно-зелеными листьями, а также, так называемое, «перламутровое дерево» с мелкими, бледновато-розовыми цветами. В полукруглой печной нише стояла белая гипсовая статуя какой-то богини, а вверху на приступочках той же печи раскрашенные гипсовые Амуры сидели, скрестив ноги, и, с лукавой улыбкой поглядывая на залу, все что-то записывали на страницах тетрадей, раскрытых у них на коленях...  Ах, если бы в самом деле эти голые Амуры могли писать!.. Много интересного и поучительного занесли бы они на страницы своих тетрадей...  За залой следовала гостиная, тоже белая комната, довольно глубокая и несколько мрачная, уставленная старинною мебелью, обитою красным сафьяном, и увешанная в простенках между окнами длинными зеркалами в золоченых рамах. Далее была – «картинная», довольно узкая, продолговатая комната с гравюрами в золоченых рамах по стенам. Тут были картины из жизни Абеляра и Элоизы, из Гётевской повести о Вертере, сцены из греческой мифологии. На последнего рода картины мне запрещали смотреть, и, вероятно, именно поэтому-то я всего пристальнее и рассматривал их, но, признаться по совести, сколько я ни всматривался, ровнехонько ничего в них не понимал и не мог взять в толк, почему мне запрещали глядеть на них... Далее порядка комнат не помню, но только знаю, что их было так много, что я однажды, когда был еще очень мал, заблудился, никак не мог попасть в «люковую», откуда лестница вела вниз, и, заблудившись, страшно перепугался и расплакался...  Помню: в одной комнате на довольно толстой, низкой тумбе стояла раскрашенная, тщательно сделанная модель трехмачтового, военного корабля, со всеми мельчайшими подробностями его оснастки и вооружения – с мачтами, парусами, реями, веревочными лестницами, со связками канатов на палубе, с якорем, со сходом в трюм, с каютой, с люками, откуда выглядывали жерла темно-бронзовых игрушечных пушек. Эта модель корабля была чудом терпения и искусства. Ее делал сам дедушка во дни оны.  В «картинной», а также и в других комнатах, там и сям, висели на стенах портреты моих предков. Портреты – большие, все в черных рамках. Днем этих «дедушек» и «бабушек» я не боялся, но вечером ни за что в свете я не пошел бы глядеть на них. С темного холста, как призраки, смотрели на меня их надутые, самодовольные лица с гладко выбритыми подбородками, в громадных напудренных париках; иные из этих людей были в каких-то мантиях, иные в мундирах, то с отложными, то с высокими, стоячими воротниками. Голодный, неподвижный взгляд их больших голубых глаз пугал меня в детстве; эти неподвижные, остановившиеся глаза иногда даже грезились мне во сне... Были там портреты и дам конца прошлого и начала нынешнего столетия. Помню: губы – сердечком, локоны, короткие, широкие рукава, короткие талии, перехваченные то розовой, то голубой лентой; в руке, на груди или на плече – белая или алая роза.  Из старых почерневших картин особенно сильное впечатление на меня производили: апостол Петр с ключами в руках, и Юдифь, убивающая Олоферна. Последняя картина положительно приковывала к себе мое детское внимание...  Эта Юдифь с мечом, стоящая над спящим Олоферном, и голова Олоферна со всклокоченными волосами и с красным почти багровым лицом мучили меня: они меня пугали, отталкивали и в то же время привлекали меня к себе. Насколько я теперь понимаю дело, эта картина, должно быть, написана была не заурядным, доморощенным художником. Юдифь, эта полураздетая красавица, с черными распущенными волосами, и спящий, страшный Олоферн и теперь еще живописуются передо мной, выступая из мрака воспоминаний... Я как будто и теперь еще вижу в темных, широко раскрытых глазах Юдифи ужас, а на лице спящего Олоферна – тень от занавеса, как тень надвигающейся смерти...  Была еще одна интересная для меня комната – «дедушкина рабочая»; здесь стояли два токарные станка и столярный верстак, и находились всевозможные принадлежности столярного, токарного и слесарного дела. В углу стояли сухие, гладко выструганные доски. Во время своих странствований я всегда заглядывал в эту комнату.  Занимал меня также звучный резонанс больших пустых комнат. Приду, бывало, в залу и начну выкрикивать «о-о! а-а!» и слушаю, как отголосок моих восклицаний отдавался по всей анфиладе комнат. Зимою верхний этаж протапливали изредка; в комнатах пахло сыростью и затхлью нежилого здания.  Жилые комнаты нижнего этажа были темнее и казались мне мрачными по сравнению с верхними, обширными покоями, где было так много воздуха и света. Здесь комнаты были ниже, окна меньше и притом в зале заставлены цветами. Расположение передних комнат здесь было почти такое же, как и наверху: зала, гостиная, – только тут вместо «картинной» находилась довольно большая столовая – «наугольная».  В столовой, помню, была изразцовая лежанка с рисунками каких-то фантастических цветов, фруктов, ярко окрашенных бабочек и птиц с хохлами на головах и с очень длинными, вниз опущенными хвостами. На лежанке часто сидел дедушкин черный кот. По зимним вечерам он грелся на лежанке, а летом усаживался на ней уже просто по привычке. Этот черный кот был очень важной особой в доме: гнать, притеснять его и вообще относиться к нему дурно никто не мог, кроме дедушки.  В то время, как я стал помнить дедушку Павла Михайловича, он был уже старик лет 75, среднего роста, коренастый, с редкими, разлетающимися прядями седых волос на висках и на затылке, с густыми, клочковатыми бровями, без бороды и без усов. Толстый кончик его носа был покрыт целою сетью мелких красно-сизых жилок. Постоянно, зимой и летом, он носил широкий, черный шелковый галстук, длинный, серый нанковый сюртук, застегнутый на все пуговицы, и широкие серые штаны. Он видел еще довольно хорошо, так что читал без очков, но слышал плохо; при разговоре с ним нужно было кричать, и говорить с ним по секрету было неудобно... Голова его сильно тряслась, руки дрожали, и при ходьбе он волочил ноги по полу. Издалека, бывало, узнаешь о приближении дедушки, заслышав шмыганье его сапог.  Дрожание рук всего более мучило его. Он, бывало, до того рассердится на руки за их непослушание, что начнет с яростью бить одной рукой другую и, чуть не плача, приговаривает: «Вот тебе! Вот тебе, проклятая! Отрубить тебя надо! Отрубить!..». Виноватою чаще оказывалась правая рука, но, само собой, всегда больнее доставалось левой.  Для питья чая на стол перед дедушкой ставилась невысокая скамеечка из красного полированного дерева. Человек, прислуживавший деду, наливал из кружки чай на блюдце и блюдце ставил на скамейку, и затем дедушка управлялся уже сам. Вот тут-то рукам и доставалось от него всего чаще, ибо за питьем чая всего чаще дедушку постигали неприятности: ронянье ложки, разливанье чая по скамейке, битье посуды и т. д.  Дедушка, когда бывал в добром расположении духа, любил подшучивать над гостями: возьмет у кого-нибудь украдкой платок или табакерку, спрячет их, сядет в сторонке и ждет. Ждать ему приходилось не долго, потому что гости уже догадывались, в чем дело, и начинали искать потерянный платок или табакерку, вставали с мест, заглядывали под кресла, под стол, ходили по комнате, пожимали плечами и удивлялись. А дедушка с чисто детским лукавством посматривает на них и посмеивается, а потом возьмет и подбросит к кому-нибудь утащенную вещь. Хозяин найденной вещи – в величайшем недоумении, и дедушка остается очень доволен своими маневрами...  Дедушка Павел Михайлович состоял на морской службе в царствование Павла I. Со смертью этого государя кончилась и служебная карьера моего деда. Потому ли, что с этим царствованием были для него связаны воспоминания юности, лучшей поры жизни, по другим ли каким-нибудь причинам, – судить не берусь, только верно одно, что дедушка почему-то благоговел перед памятью Павла Петровича. Кажется, что он даже как будто не признавал следовавших за Павлом I государей – Александра и Николая Павловичей.  В Фоминском, в нескольких комнатах висели портреты Императора Павла I. В дедушкином кабинете на столе стояла статуэтка из темной бронзы, изображавшая этого государя во весь рост, опирающегося на обнаженную шпагу, и с его знаменитой треуголкой на голове.  Не раз, бывало, сидит дедушка Павел Михайлович в своей комнате за столом, откинувшись на спинку кресла, смотрит на статуэтку обожаемого им монарха и вдруг начнет шамкать своими беззубыми челюстями:  – Да! Это был государь... Вот это – государь!.. Царство ему небесное!..  И губы его что-то шептали, брови хмурились, седая голова его тряслась сильнее обыкновенного, и он в забывчивости, унесшись в прошлое воспоминаньем, сжимал свои слабые, дрожащие руки и стучал ими по столу.  Образ этого государя, очевидно, отражался в его воображении сквозь какую-то светлую, радужную призму и вовсе не в том виде, в каком император Павел I запечатлелся в памяти большинства его современников и явился впоследствии на страницах истории. Павел I, по-видимому, был его кумиром, представлялся ему идеалом человека и государя, рыцарски великодушного, справедливого и просвещенного, мечтавшего и бывшего в состоянии обновить весь мир, если бы только его предначертаниям не помешала преждевременная его кончина.  III.  Дедушка Павел Михайлович вставал рано и рано ложился спать; после обеда отдыхал; в осеннее ненастье и зимой, когда его, бывало, «развалит» к погоде, любил «сумерничать» долее обыкновенного. Летом ходил в рощу за грибами, гулял по саду, бросал в пруд карасям хлебные крошки, а дома вязал мережу и неистово бил мух. Хлопушки для мух лежали у него на столе, на подоконниках, всюду, – и посетитель каждый раз доставлял ему большое удовольствие, если, вооружившись хлопушкой, начинал вместе с ним умерщвлять мух; если же посетитель промахивался, то доставлял тем дедушке еще высшее наслаждение.  Однажды при мне посетитель завел с дедушкой разговор по поводу мух.  – Ведь и мухи для чего же нибудь созданы! – заметил он. – Может быть, они воздух очищают...  – Воздух очищают! – с негодованием вскричал дедушка, тряся головой. – Мухи-то воздух очищают!.. Да они, проклятые, только пакостят...  И он с яростью треснул хлопушкой по столу.  В летнюю пору мухи так сильно досаждали ему, падая ему в чай, в кушанье и жаля его лысину и затылок, что он без злобы не мог смотреть на них.  Зимой дедушка иногда, изредка, читал преимущественно книги исторического содержания, а также календари за старые года, чаще же всего занимался своею мережей. Немалое развлечение также доставляли дедушке его прирученные четвероногие и пернатые друзья. Возьмет он, бывало, несколько кусочков сырой говядины и пойдет искать свою любимицу – ручную ворону, выйдет в сени и старческим, надтреснутым голосом кричит: «Каргуша! Каргуша!» И ворона с радостным карканьем спешит на его зов, бочком прыгая к нему по ступеням крыльца. Дедушка берет ее, садит к себе на левую руку и начинает угощать ее. Ворона вертит головой и, посматривая на него искоса, с воровскими ужимками выхватывает у него кусочек мяса. Дедушка улыбается.  – Каргуша! Ты ведь воровка? – спрашивает он ворону, тряся ее за клюв.  Ворона, освободив клюв, тащат другой кусочек, и с жадностью проглатывает его.  – Воровка! – утвердительно говорит дед и, скормив весь запас мяса, отпускает свою «каргушу».  Но она еще несколько минут прыгает около него, клюет подошвы его сапог и с самым вызывающим видом налетает на него...  Или возьмет дедушка своего ежа, поставит его перед собой на стол, сядет в кресло и начинает с ним разговаривать.  – Еж! Ежинька! – говорит он, проводя своею дрожащей рукой по колючим иглам. – И погладить-то тебя нельзя, Еж Ежович! На что ж мордочку-то спрятал... ну, покажи-ка! Посмотри на меня!  Еж на мгновенье высовывал мордочку, своими темными глазками взглядывал на де душку и опять свертывался в комок.  - Уж и струсил! Ну, чего ж испугался? – с усмешкой говорил дедушка.  Кормление кота также занимало немало времени, а иногда даже принимало трагически оттенок и составляло событие дня.  Его старый черный кот, разумеется, всегда был сытехонек, накормлен до отвалу. Но дедушке, бывало, покажется, что кот голоден, что его надо непременно покормить. В чашку наливались сливки, разбавленные теплой, кипяченой водой, и крошились кусочки белого хлеба... Дедушка брал кота и подносил к чашке. Сытый кот, понятно, воротил морду в сторону. Дедушка сначала ласково упрашивал его, уговаривал и урезонивал всячески.  – Ну, поешь, коша! Поешь! – шамкал он, поворачивая кота к чашке.  Кот упорствовал и продолжал пятиться от чашки, разыгрывалась в лицах басня о Демьяновой ухе. Дед начинал сердиться.  – Отчего не ешь? Ну! Что ж тебе еще надо? А? Тебе сливки – не сливки... Морду воротишь! – ворчал дедушка, тыча кота носом в чашку – ешь, ешь, тебе говорят...  Кот фыркал, отбивался и начинал жалобно мяукать. Тут уж дело его становилось совсем плохо... Дедушка в виду такого явного, закоснелого упорства окончательно приходил в бешенство.  – У-у-у! упрямая скотина! – шипел дед и, схватив дрожащими руками кота за шиворот, торжественно нес его из комнаты.  Кот, зажмурив глаза, оставался неподвижен, как бы уже приготовившись к восприятию самых жестоких мук. Дело кончалось тем, что дедушка с видом непреклонной решимости сбрасывал его с крыльца, как с Тарпейской скалы, и гневно кричал вслед удиравшему коту:  – Пошел, негодяй! И не смей мне на глаза показываться!..  И дедушка, глубоко расстроенный и рассерженный, возвращался в комнату со слезами на глазах: то были слезы жалости и досады на «неблагодарную, упрямую скотину».  Впрочем, contra между дедушкой Павлом Михайловичем и его черным котом были непродолжительны. Через час дедушка уже забывал прегрешения своего любимца и, выйдя на крыльцо, мягким, нежным голоском зазывал его к себе: «Коша, коша! Где ты? Коша!». И если кот, задрав хвост, со всех ног бежал на его зов, дедушка умилялся и радостно принимал его, как раскаявшееся блудное детище, брал на руки и, гладя и целуя его в голову, нес к себе в комнату.  Дедушка был вообще ласков к детям, по крайней мере, под старость. Он благоволил ко мне и часто уводил меня в свою комнату. Мне нравились эти посещения, потому что в дедушкином шкапу находился, по-видимому, неистощимый запас винных ягод, фиников, чернослива, синего изюму и проч., и проч. И он каждый раз щедро наделял меня этими сластями.  В дедушкиной комнате, кроме шкафа с его «провизией»; стоял еще книжный шкаф. В этом шкафу в нарядных переплетах красовались за стеклом: История Петра I, Суворова, Наполеона, Фридриха Великого, История войны 1812 года, Картины вселенной, Путешествия Дюмон-Дюрвиля, Тайны инквизиции, Труды Вольно-Экономического Общества, Les fables d'Esope phrygien (Копенгагенское издание конца прошлого столетия) и др.  На стенах в красных рамках висели старинные гравюры, с изображением каких-то морских сражений, битвы под Полтавой и при деревне Лесной, а также портрет Куракина и какого-то, не помню, важного духовного сановника.  На стене около двери висели большие стенные часы; на циферблате их вверху выглядывал из-за скалы тигр, каждую секунду страшно вращавший глазами...  В последние годы жизни дедушка Павел Михайлович большую часть своего времени, особенно зимой, проводил в этой комнате со своим старым неразлучным служителем Васильем Шило и со своим черным котом.  IV.  А как был хорош фоминский сад!  Перед домом с полуденной стороны расстилался роскошный цветник; тут росли великолепные георгины, всевозможных сортов розы – алые, белые, желтые, нарциссы, масса мелких пахучих цветов – душистый горошек, левкои, мальвы, «уголек в огне», царские кудри, анютины глазки, жонкили, – и я уж не помню, что еще там росло и цвело.  Далее расходился старинный, почтенный сад. Аллеи липовые, березовые, аллеи елей, сосен, пихт – перерезывали сад во всех направлениях; то аллеи шли параллельно, то пересекались, то обходили вокруг прудов и приводили в глубину сада, к разным укромным, уютным уголкам, то к беседке из акаций, то к дерновому, полукруглому дивану, то к кокетливому, хорошенькому домику легкой, воздушной постройки, служившему для обливания в жаркие летние дни. (От Фоминского до реки Вологды – около версты). В саду был вишневый сарай, и росло много прекрасных яблонь. Под тенью лип приютилась баня. В прудах водились караси...  Помню я, как, бывало, в бурю или ночью, в сильный ветер сад глухо шумел и гудел. А летом в тихий и ясный полуденный час сад стоял во всей своей прелести, блистая зеленою листвой в волшебной игре света и тени и благоухая цветочными ароматами...  Через дорогу находилась роща, темная, тенистая, и в ней также большой пруд с карасями.  В этой роще жили кролики. Бывало, рано утром, когда роса еще не обсохла на траве, я забирался сюда и подсматривал за кроликами. Они были такие чистенькие, гладкие, с лоснящеюся версткой; так мило садились они на задние лапы и так зорко оглядывались по сторонам, насторожив свои длинные уши! Мне ужасно хотелось поймать кролика и поласкать его... И сколько раз я бегал за ними по роще до устали, но ни разу, конечно не мог поймать ни одного кролика. То они прятались под бревна, лежавшие на опушке рощи, то заскакивали в непролазную чащу кустов орешника, а иной раз пропадали прямо из-под рук, словно сквозь землю проваливались. Принимался я сторожить кроликов и поздно вечером, когда под деревьями сгущались тени и месяц светил с неба, но ловил их с таким же успехом, как и днем.  За рощей стоял большой, длинный амбар с крытой галереей. За амбаром рос густой малинник, и я часто, забравшись в него, лакомился вкусными ягодами...  Помню: особенно торжественно справлялись дедушкины именины 29 июня, в день первоверховных апостолов Петра и Павла.  Все родные и знакомые съезжались по этому случаю в Фоминское; приезжали из усадеб, из города; ближние являлись в день празднества, дальние забирались накануне. Четыре поколения рода Засецких бывали налицо в тот день в Фоминском: дедушка Павел Михайлович, его дочери и сыновья, внуки и внучки, правнуки и правнучки... И для всех многочисленных гостей, съезжавшихся на Петров день в Фоминское, доставало места, хватало постелей, подушек, прислуги, Фоминский дом в ту пору был полная чаша... Весь двор перед каретником застанавливался экипажами. Нарядные кучера, в поддевках и в красных рубахах, шатались по двору или сидели у «людских » изб. В конюшнях слышались топот и лошадиное ржание. Разряженные горничные девушки, лакеи и казачки поминутно перебегали между домом и кухней.  Утром гости отправлялись в церковь (в полуверсте – на горе); кто шел пешком, кто катил в пролетке, в коляске. После завтрака гости шли на балкон, расходились по саду, группами, парами, по одиночке... В зеленой дали тенистых аллей мелькали светлые женские платья, слышался говор, смех... С пеньем птиц сливались веселые детские голоса, звеневшие в воздухе.  На тот день отпирался для гостей верхний этаж дома, и большой обеденный стол накрывался в зале. Для детей ставились маленькие столы. Запах трав и цветов вливался из сада через балкон и в большие раскрытые окна. Дедушка Павел Михайлович в тот день одевался в черный, «парадный» сюртук старого покроя.  В конце обеда, помню, гости с бокалами в руках поднимались со своих мест, шумно отодвигая стулья, и поздравляли именинника. Дедушка Павел Михайлович стоял перед своим прибором на переднем конце стола и с серьезным, невозмутимым лицом раскланивался с гостями, усиленнее обыкновенного покачивая своею трясущеюся головой и расплескивая шампанское из бокала. В это время с садового вала, где была устроена батарея, раздавались вскоре один за другим три пушечные залпа. Стекла в окнах дрожали, хрустальные подвески люстры бренчали; дамы и барышни вскрикивали от неожиданности, слышался звон разбитого бокала... гости оглушительно кричали «ура»!.. Я смотрел в окно и наблюдал, как в саду между деревьями синеватыми полосами расстилался пороховой дым.  Вечером опять поднималась пушечная пальба, опять пушечный грохот раздавался над Фоминским, и клубы порохового дыма заволакивали опушку сада. На этот раз уже ничто не могло удержать меня в комнатах, и я бежал на садовый вал, где с давних пор была устроена батарея по всем правилам военного искусства – и успела уже густо зарасти травой. Пушки были небольшого калибра, длинностволые, на зеленых лафетах и обыкновенно хранились в сарае, рядом с каретником, где стоял также громадный каток с наваленными на нем большими серыми булыжниками...  Помню: с каким волнением и с замираньем сердца смотрел я, как дяди мои, артиллеристы, Александр и Константин, заряжали пушки и накатывали их на край батареи. И красиво было видеть, как в синем полусвете сгущавшихся летних сумерек из пушечных жерл с грохотом и треском вылетал огонь, и густые клубы дыма на несколько мгновений застилали спящую окрестность...  Где те дамы и кавалеры, которые, бывало, так весело гуляли в Фоминском, в тени аллей его садов и рощ! Они прошли, они исчезли, и исчез их след...  Однажды в серый, ненастный октябрьский день дедушка Павел Михайлович, по своему обыкновению, лег «посумерничать», заснул и уже более не просыпался. Кончина его была безболезненная и мирная. Он умер 90 лет в то памятное, многознаменательное время, когда рушился наш старый «крепостной» строй и навсегда сдавался в исторический архив... Я был в ту пору в V классе гимназии и присутствовал на похоронах дедушки Павла Михайловича; на похороны его собрались почти все его внуки и правнуки.  В своем черном «парадном » сюртуке лежал он в гробу. Бледное лицо его было спокойно, губы плотно сжаты... Он показался мне в гробу очень маленьким... Серый, сумеречный свет октябрьского дня скупо проникал в залу, и в этом сумеречном свете мерцали тускло восковые свечи в больших подсвечниках, стоявших по углам гроба. Темная зелень померанцевых и лимонных деревьев бросала тень на изголовье гроба...  Через много лет после смерти дедушки Павла Михайловича был я в Фоминском...   |  |  | | --- | --- | |  | «Старый дом, старый друг! посетил я,  Наконец, в запустенье тебя.  И минувшее вновь оживил я  И печально глядел на тебя»... |   Роща вырублена, кролики мои исчезли, ни вишневого сарая, ни теплицы, ни оранжереи... В доме не слышно шмыганья дедушкиных сапог. Не стало ни дяди Александра, ни приветливой его жены, ни той, которой образ живет, и будет жить всегда в моих воспоминаниях, как мечта, как призрак юношеских лет... Все они – там, на горе, у церкви, лежат в своих могилах...  С Фоминским, кроме воспоминаний о дедушке Павле Михайловиче, для меня связывается не мало и других воспоминаний – светлых и печальных. Но об этом или после или никогда...  **Примечания**:  [1](http://www.booksite.ru/usadba_new/zasec/15_07.htm" \l "1) В копии о родословной фамилии Засецких, писанной «на Вологде генваря 17 дня 1730», сказано: «В лето 6897 году во дни великаго князя Василия Димитриевича Московскаго и всеа России выехал из Италии муж честен Николай Засецка, а по крещении имя ему дано Димитрий Засецкой»  [2](http://www.booksite.ru/usadba_new/zasec/15_07.htm" \l "2) В настоящее время Новое и Чичулино принадлежат Заоникиевскому монастырю, а Фоминским владеет немец Буман и делает сливочное масло. |